

Виктория Сурина



ЖИКИМОРА

Виктория Сурина

Кикимора

<https://litres.ru/73998203>

SelfPub; 2026

Аннотация

Знаете, кто лучше всех помнит историю семьи? Не бабушкины сундуки и не церковные книги, а та, что живёт за печкой – Кикимора.

Четыреста лет назад странники пришли на пустую землю, поставили избы, завели хозяйство. А под порогом родилась она – не злая, не страшная, просто домашняя. Она путает пряжу, прячется в курятнике и бьет посуду – но только чтобы повеселится. С ней проще договориться, чем попытаться победить.

Кикимора наблюдает за родом изнутри: нянчит детей, заплетает косы невестам и закрывает глаза мертвецам. Она знает про них больше, чем они сами, а они не понимают, как без нее жить.

Это семейная сага не о войнах, горе и репрессиях. Она о том, что люди всегда возвращаются туда, где их ждут. А еще о том, что даже кикимора может стать верным хранителем очага – если, конечно, ее не злить.

Роман с запахом свежего хлеба, парного молока и скошенной травы.

Основано на реальных событиях.

Виктория Сурина

Кикимора

Глава 1

Пилигримы

Они шли. Шли мимо погостов и капищ, мимо острогов и кладбищ, через леса и поля, через города и деревни, вдоль рек и оврагов, по пояс в траве и по песчаным бродам. Шли по пустынной дороге, не помня, где она началась и не ведая, где завершится. Шли, вздымая пыль, меся грязь, сбивая босые ноги об острые камни, не останавливаясь на привалы и ночлеги, бросая в придорожных канавах отставших, прося милостыню и воруя, чтобы прокормить себя и детей, что несли на руках. Шли под дождем и снегом, в зной и в стужу, подгоняемые ветром и гонимые им, под палящим солнцем и холодным лунным светом, не соблюдая праздников и воскресений, не молясь никаким богам и не внимая колокольному звону. Брели, ни с кем не заговаривая, никому не жалуясь, никого не беря в попутчики и в расчет. Скорбно, со скарбом, что только могли унести, в лохмотьях, едва прикрывавших чресла, кутаясь в соломенные плащи и шкуры тех, кому не посчастливилось перейти им дорогу.

Изгнанники ли, беженцы ли, пленники ли – они так долго

шли, что совсем потерялись, и едва б могли ответить какого они роду-племени и как их зовут. Они молча, не прекословя и ничего не спрашивая, покорно следовали за пегим хвостом пегой кобылы и всадником в татарском платье, сидящим на ней. Он спал и ел прямо в седле, задавая неумолимость и бесконечность их движению. Ему было все равно и им должно было быть тоже. И они старались, ведь отставшим не полгалось могил – утробы волков и собак становились их последним приютом.

Но однажды кобыла и всадник остановились. Так резко и неожиданно, что они едва не упали. Привыкнув к бесконечному движению, они теперь удивленно оглядывались и перешептывались, нервно перебирая ногами, не помня уже как стоять спокойно, совсем не шевелясь.

Пегая кобыла опустила голову вниз и принялась чинно и важно щипать мягкими губами только-только пробившуюся травку. Она фыркала и покачивала головой, отгоняя истосковавшихся по теплой крови мошек. Кобыла больше никуда не торопилась, кажется, она пришла туда, куда собиралась изначально.

Всадник в татарском платье не мешал кобыле есть, он тоже был занят. Обозревал окрестности, приставив ко лбу правую руку, а левой придерживая нагайку на луке седла. Он будто бы намеревался хлестнуть плетью любого, кто посмеет обогнать его и пойти дальше самовольно. Но смельчаков не находилось. Они все разбрелись, кто куда, пытаясь понять,

где очутились.

Пегая кобыла, ведомая одной ей известной силой, привела их на опушку леса, на небольшой пригорок в излучине узенькой, вертлявой речки, по болотистому берегу которой горделиво выхаживал бело-черный аист. Он искал в осоке лягушек, а людей не искал. Он поглядывал на них искоса, не воспринимая всерьез. Они выглядели слишком жалко и потрепано, чтобы внушать страх столь важной птице.

Но аист здесь был не один, из-под их окровавленных ступней то и дело вспархивали пестрые пигалицы. Разбросав повсюду свои крапчатые яйца, и не ожидая подвоха, они теперь волновались и возмущенно вскрикивали, желая отвлечь людей от драгоценных гнезд. Но чьи-то спущенные с рук дети уже лакомились редким блюдом – вскрывали ногтями и выпивали до дна крапчатые яйца. Не жалея пигалиц, как никогда не жалели их.

Вокруг шумел едва зазеленевшими осинами лес и пронзительно пахла мокрая, пробудившаяся, зовущая соху земля, они трогали ее руками, сжимали в горсти и, припадая к ней, целовали, словно вновь обретенную мать. Они поняли, что пришли, что их путь, наконец, завершен, и вот то место, та земля, тот лес и та речка, что станут отныне их домом. Не тем, что они когда-то покинули, но тем, что сегодня обрели.

Всадник ухмыльнулся в черные ниточки усов, глядя на их неумную радость, и помахав на прощанье нагайкой, что так ни разу и не пустил в ход, поскакал куда-то дальше. Он про-

должил свой путь, который, в отличие от их пути, нигде и никогда не заканчивался. А они остались на пригорке, усталые и почти счастливые, оставив в прошлом и всадника, и дорогу, и пегую кобылу, стершихся из их памяти быстрее, чем кожа на босых ногах.

Ляхово

У всего в этом мире есть хозяин, и у их земли тоже был, они об том догадывались, но не спрашивали. Не спрашивали можно ли боронить чужую пашню, валить чужой лес, ловить чужую рыбу, собирать чужие грибы и ягоды. Не спрашивали, потому что не у кого было. Разве что у аиста, что с завидным упорством прилетал в свое гнездо каждую весну. Он-то наверняка знал правду, но не мог ее рассказать.

Эта редкая в здешних краях птица почему-то выбрала жизнь рядом с ними, и они старались ей не мешать, отдавая должное и ее красоте, и заведенному раз и навсегда порядку. Аист, конечно, был не один и тот же, уже много поколений сменилось и в огромном гнезде, придавившем старую ель, и в деревне, разместившейся неподалеку. Но для всех он стал будто бы вечной райской птицей, посланцем с небес, возвещающим, что очередная зима закончилась. А еще он казался им таким же, как и они изгнанником, обретшим долгожданный покой на новом чужом месте.

Минуло уже лет тридцать с тех пор, как первые из них припали губами к щедеушной здешней земле с благоговени-

ем и надеждой. Только старики, что прежде были детьми, рассказывали внучатам сказки о всаднике в татарском платье и пегом хвосте пегой кобылы, что привели их сюда давным-давно. Внучата не очень верили, потому что для них это место и эта жизнь существовали всегда и обещали существовать еще очень долго, постоянно и неизменно.

Деревенька их давно расстроилась крепкими избами, обзавелась банями и овинами, распахала опушку, завела кур, коров и лошадей, перезнакомилась и пережилась с соседями и даже обрела собственную церкву, в честь Василия Великого освященную. Прочно они вросли сюда корнями и не рвались возобновлять прежний путь или начинать новый, куда бы он их ни привел, и что бы им ни было обещано.

Только от соседей да церкви молва видно и пошла. Храм на господской земле стоял, и все окрестности под поповским приглядом были. Молва, правда, долго шла, пока судили и рядили, пока друг к другу приглядывались, пока обживались и укоренялись – те самые тридцать лет и минуло. Тихие да спокойные, которых ни до, ни после у них не было и быть не могло.

Да сколько веревочке не виться, а конец будет. Пришла новая весна, считай, что тридцать первая, прилетел аист, не нарушив установленного порядка, и вслед за ним показался на пригорке незванный гость, что хуже татарина.

На добром вороном коне въехал в деревеньку боярский сын. Молодой, ретивый, шапка лихо набекрень заломана, а

глаза под ней синие, что лен, и глядят дерзко да с вызовом, мол, не упрашивать вас пришел, а волюшку свою велеть.

Конь-то у боярского сына был добрый, да на шапке меховая оторочка имелась, будто даже из соболя, только епанча у него вся в кривых заплатах, а на кафтане шитье выцветшее и подол-то весь обтрепан. Стало быть, нехороши дела у господ, стало быть, с них подати да недоимки драть начнут, за все года вольный жизни расплатиться придется. За все что делали и не делали, за все что брали и не брали, за что знали и за что не ведали.

Стояли они перед ним, стыдливо опустив глаза, ломали в руках снятые шапки, и прикидывали, что им грозит за своеволие. По всему выходило – худо. Но сын боярский не был скор на расправу и с повелениями не спешил. Чинно весь их строй объехал, каждому в лицо заглянул, придиричиво глянул на избы, проехался вдоль пашен, спустился к реке, цокнул на сети и езы, без позволения ставленные и, прикинув в уме видать, сколько с них причитается, вернулся к строю неровному и спросил вдруг:

– Вы чьих будете? Какого роду-племени? Откуда прибыли?

Переглянулись они и не знают, что ответить. Откуда прибыли? Как ответишь, коли здесь и родились, и выросли, и все им знакомо и дорого, другой земли не знаю и знать они не хотят? Но по всему было видно – не такого ответа боярский сын ждал. А какого?

Тут вышел вперед чудак-старичок, приживала у родственников, один из тех, кто еще помнил о пегой кобыле. Почесал он затылок, помялся и бросил небрежно:

– Да, боярин, родители мои сказывали, что мы с ляхской стороны пришли. Ляхи мы вроде...

Боярскому сыну слова эти не по нраву пришлись, он поморщился и в нагайку свою покрепче вцепился. В ту пору как раз с ляхом война и шла, бились за то, чья возьмет.

– Но православные мы, боярин, вот, те крест, православные! – старичок широко перекрестился и поклонился в пояс, поспешив поправить дурное их положение.

– Ну раз ляхи, то пускай будет сельцо Ляхово. Сельцо Ляхово Афанасия Матвеева сына Мичурина, – сменил гнев на милость боярский сын.

– А кто это? Сын Мичурин? – спросил местный тугодум, прикрыв глаза рукой от палящего солнца.

– А это я и есть. Теперь я ваш хозяин, и вы должны во всем меня слушаться. Понятно?

Они дружно, но не весело закивали. Слушаться им никого не хотелось. Жили ж свободно и вольно, как умели, и неплохо жили, на кой им над собой начальство? Поить и кормить его только, а толку? С гулькин хрен?

– В Москву еду, служить у царя стану и невесту себе подыщу, а вы пока мне избу срубите, да обставьте всем, чем положено, чтобы жить где было, сообразно моему положению.

– И всего-то, боярин? – обрадовался тугодум, но ему тут

же по затылку от соседа прилетело за лишний спрос. Нечего жаловаться, что мало потребовали.

– И все. Как вернусь – решим, что дальше делать. А пока, бывайте, – махнул боярский сын им рукой и, пришпорив вороного, ускакал на юг, искать счастья и царевой милости.

А жители новоиспеченного Ляхова отправили гонца в церкву – молебен служить по доброму боярину Афанасию Матвееву, чтобы все у него в стольном граде сладилось, но что б подольше он оттуда в вотчину свою не возвращался.

Избу справить – дело нехитрое. Выбрали место повыше, да посуше, да свидом на речку их вертлявую. Отрядили лучших плотников, соседей в помочи позвали, отдали на постройку лес, для себя с зимы заготовленный, и за месяц поставили хоромы с теремом и резьбой. Иконы по дворам собрали, за утварью на ярмарки съездили, половички да рушники бабы выткали да вышили, лавки и столы и те на совесть сколотили – славно получилось; любо-дорого посмотреть.

Только смотреть было некому. Ни через месяц, ни через два боярский сын не приехал. Лето закончилось, урожай собрали, снегами все замело – а никаких вестей от Афанасия Матвеева не получили.

Ждали поначалу, не то, чтобы с надеждой, скорее с опаской, а потом и опасаться перестали. Потекла их жизнь привычным образом без суеты напрасной и указаний лишних. Одни хоромы срубленные об их невольстве напоминали, но скоро и крыша прохудилась, и сруб накренился на глинистой

их земле, а сквозь ладно сколоченное крыльцо стали прорастать осинки да вербы – им только волю дай, все сожрут и памяти не оставят, что когда-то тут люди жили.

В покосившихся и разъехавшихся хоромах стали прятаться и играть детишки, половички и рушники истлели, иконы обратно позабирали, утварь растащили... Порывался было староста поправить развалину, да никто его не поддержал, так и рухнули боярские хоромы, истлели и обратились в прах, из которого и возникли.

А куда пропал Афанасий Матвеев сын Мичурин, кто ж знает. Может, в сражениях с ливонцами сгинул, славы и добра доискиваясь, а может, так до Москвы и не доехал – попался лихим людям, за коня да шапку и прирезали, и нагим и босым в овраг скинули, где прежде их отставшие лежал. А вдруг и молебен силу возымел, большим человеком в стольном граде сын Мичурин сделался и о горемычном сельце своем позабыл.

Одному Господу Богу-то и ведомо, не нам сирым и убогим.

Монастырь

Когда пришли первые троицкие чернецы, их встретили приветливо. Напоили пивом, накормили пирогами и уложили спать в лучшей избе на лучшем месте. Они говорили, что странствуют, что ищут место для нового монастыря, что несут сирым да убогим слово Божье. А еще рассказывали

об обители, о братии, о ее неустанной молитве за народ русский, за царя-батюшку, и о Сергии сказывали, что игуменом всея Русской земли зовется.

Они слушали чернецов, внимали, чему-то дивились, чему-то возмущались, о чем-то расспрашивали, но ничего дурного ни в ни них, ни в их рассказах не видели.

Но с каждым годом, каждым месяцем, каждым днем, троицких посланников становилось все больше. Чернецы оседали в господских домах приживалами, ставили скиты в лесах, подменяли священников в церквах. Прежних странников и молитвенников сменяли чернецы на добрых конях, в сафьяновых сапогах под рясами и глазами, наполненными не благодатью, но алчностью.

Поползли по деревням слухи, что смущают и соблазняют чернецы льстивыми речами своими господ Мичуриных, что обещают им царствие небесное и вечное поминовение за землю и дома их, и что то одни боярские дети, то другие уходят в монастырь, отдавая ему и луга, и поля, и сенные покосы, и рыбные ловли, и леса, и пустоши, и даже населенные места со всем, что на них ни есть.

Словно туча грозовая, словно река половодная, словно поветрие моровое расползались владения троицкие по окрестностям. Ненасытной звериной утробой поглощали чернецы обедневшие вотчины разоренных войнами да поборами боярских детей. Иные за счастье считали пойти в монастырь хоть слугой последним, отдав батюшке-архимандриту

все, чем владели. Лишь бы была крыша над головой, да краюха хлеба, да новая ряса с подрясником вместо давно прохудившегося, полуистлевшего кафтана.

В Ляхово и очнуться не успели, как оказались одни-одиношеньки, окруженные со всех сторон огромной Троицкой вотчиной, закабаленной и стонущей под непосильным гнетом церковников.

То им соседи сказывали, охая и ахая от наложенных на них барщин, оброков и уроков. Прежде дети боярские просили скромно: долю малую от урожая, от того, что сами ловили и ели, да царские подати, как заведено веками. Теперь же чернецы требовали на монастырской земле работой, которой конца и края не видно, требовали грибов и ягод, подвод с рыбой, целебных трав, меда, воска, березового сока, беличьих шкурок и ушей заячьих – другой-то дичи в их лесах не водилось... Сказывали, будто однажды архимандрит захворал и, послушав лекарей иноземных, велел троицким крестьянам собирать муравьев, мол, муравьиным соком велено ему было спасаться. Чего только не выдумывали чернецы окаянные, до власти и богатств дорвавшиеся. Прежде впроголодь жили, а нынче наверстывали, никак насытиться не могли.

Не ведавшие над собой никаких хозяев, не желавшие терять столь полюбившуюся им волю-вольную, ляховцы лихие присудили на сходе чернецов к себе не пускать, а коли сунуться – встречать вилами, топорами и дрекольем, что кому

под руку подвернется. Даже бабы сговорились поподчевать троицких ухватами да граблями.

Так они и встретили старца Паисия, что приехал к ним договариваться – озлобившись и ощетинившись, будто ежи перепуганные.

Старцем Паисий был по чину, но не по возрасту. Вряд ли ему боле сорока лет минуло. Знали они, что он еще юношей безусым подался монастырь, и земли свои, вместе с церковью их родной, с собой прихватил. За щедрый вклад и службу честную и примерную, дослужился он до троицкого соборного старца и послан был обратно – налаживать порядок в огромной, но то глухо, то громко волновавшейся вотчине.

Приехал Паисий в беспокойное Ляхово один, и как положено старцу безоружным, в одной простой черной рясе и стоптанных лаптях, что из-под нее выглядывали. И кобылка под ним была худая и тощая – в чем жизнь только держится, даже окрасу невнятного: ни то серого, ни то белого. Издалека и вовсе казалось, что черный кот на большом мышке едет. Подивились ляховцы смелости старца и виду его благообразному, но виду не подали и дреколья своего не опустили. Знали они как чернецы прикидываться умеют и кем после оборачиваются.

– Вы чьих будете? – спокойно спросил Паисий, облокотившись на луку седла. От этого движения ряса на нем натянулась и обрисовала крепкие руки и могучую спину – он мог постоять за себя и в кулачном бою, коли придется.

– Мичуринские мы, – огрызнулся кто-то из третьего ряда.
– И троицкими не будем! Верно говорю?

«Верно!» – протяжно подхватили остальные ляховцы, и угрожающе потрясли топорами и дрекольем.

– Опоздали вы братцы, вы уж пару лет как троицкие, – ухмыльнулся Паисий. – Прежде дядьке моему двоюродному принадлежали, потом племянникам его, потом их детям малолетним-сиротам, вот, они по сиротству своему вас монастырю и отдали во владение, за неумением и ради святого желания посвятить жизнь свою господу нашему, – он набожно перекрестился и поднял глаза к небу. Они тоже невольно подняли глаза и увидели пролетающего мимо них аиста, ни то троицкого, ни то мичуринского, ни то своего собственно-го.

– А мы грамоте не обучены! Откуда ж нам знать, что ты не врешь? Не будем Троице подчиняться, хоть кого пусть присылают, так архиматриту своему и передай!

Паисий выпрямился, приосанился и, ни слова ни говоря, свернул с перегороженной дороги на межу. Кобыла у него была послушная, маленькая, шагала она по меже осторожно и бережно, след в след, будто лисичкой была, а не лошастью, даже край межи под ней не обсыпался.

– Что это тут у вас? Рожь али жито? – Паисий по-хозяйски окидывал взглядом их зеленеющие озимые поля. Их поля – не троицкие! Их, не троицким потом и кровью политые!

– Рожь! – выкрикнул кто-то из толпы, но тут же получил

по затылку за слова лишние, как давно у них было заведено.

– Только не родится тут рожь, отче! Сами впроголодь живем, – нашлась, снова все поправить, румяная бойкая баба, махавшая прежде коромыслом.

– Впроголодь, говоришь? – недоверчиво покосился на бабу Паисий. – А что река?

– Да что река, отче, два окушка за все лето выловим – великое счастье и удача будут. То она когда была остречной, позабыли уже, нынче в пору пустошной звать, – подхватил бабы завывания хитрый староста.

– Что ж Афанасий Матвеев с вас и не брал ничего?

– Не брал, отче, жалел горемычных. Хороший хозяин был, земля ему пухом, – уверенно поддакнули из толпы. Хоромы-то боярские сгнили совсем в землю вросли – не сыщешь. Только один аист по ним и бродил в поисках лягушек. Вот и сейчас вышагивал, не обращая внимания на людскую суету. Знал он, что и это завершится, как и прочее закончилось, а потому смысла нет на каждый шум оборачиваться.

– Ничего не растет? Совсем?

– Земля тут дурная, отче! Токмо хрен один! – махнула прежняя баба коромыслом в сторону дальнего поля, сплошь покрытого ковром из жестких зеленых листьев.

– Ну хрен – это вещь добрая, в чистый понедельник и во все первая, а квас с хреном вкусен и пользителен для крепости духа, в жару особенно. Верно говорю?

Кто-то кивнул и снова получил от соседа подзатыльник.

Мол, негоже. Они, между прочим, поколотить старца собирались, а не соглашаться во всем.

– Вот, хрен вашим оброком и будет, коли он главное ваше богатство, – хмыкнул Паисий. – А еще отрядите мне двух плотников и немного зимнего леса – будем у Талицы обитель закладывать. И с соседями договоритесь, кому когда удобного монастырскую землю пахать.

Окончил свою речь Паисий, развернул кобылу почти на месте, лишь слегка рожь примяв, и степенно съехал с пригорка в низину, никем не побитый и не остановленный.

«Легко отделались», – подумали ляховцы и разошлись по домам, побросав дреколье обратно в лес, а кто и с собой прихватил – на всякий случай.

Федор

Беда пришла на землю Русскую, растерзали ее, перепортили и чужие лютые вороги и свои нерадивые отпрыски. Запустели луга и пашни, разорились города и деревни, истлели в огне пожарищ монастыри и церкви. Заполонили леса и дороги лихие люди, бродяги и нищие, все зашевелилось, сдвинулось с места и покатило с горки, словно снежный ком, сминая и крестьян, и бояр, и чернецов, и всех, кто не там и не в то время попадался.

Опустело Ляхово. Побросав все посеvy до срока, мужики ушли. Гонимые неведомым внутренним зовом, они уходили искать счастья в чужие края и дальние страны. Кто шел бить-

ся с басурманами по велению души и совести, кого манила вольная разбойная жизнь, что легче и богаче пахоты, а кто велся на клич царя истинного, обещавшего все отобрать и поделить, и раздать заново, не по чину или роду, а по справедливости.

Уходили они и потому, что уже ушли другие, и тоска с одиночеством снесли их, не давая покоя. Бросая все, отправлялись в безвестные странствия целыми семьями, тяготясь монастырскими требованиями и церковными заповедями. Но чаще, покидали жен и детей, обещая обязательно вернуться, и никогда не возвращались. Лишившись кормильца, женщины учились пахать и сеять, косить и молотить, иногда сами впрягались в сохи и бороны вместо коней, но получалось плохо. Голод и болезни забирали свое, оставляя пусые остовы изб. Вслед за стоявшими здесь боярскими хоромами расползалась, разваливалась и порастала быльем некогда крепкая и бойкая деревенька.

На всю округу остались только они вдвоем: две худые, истощенные, изможденные женщины, с впалыми от горя и недоедания глазами. Две женщины, их суп из лебеды, и такая же тощая, давно не дававшая молока, не обещавшая дать и мяса, корова. Они жили вместе, держась друг за друга и за память, что еще была с ними. Они ждали смерти и топили печь обломками чужих домов, в надежде, что она придет на дым и положит конец их бессмысленным страданиям.

Но смерть все не приходила, зато однажды пришел аист

– их последний сосед и бросил на покосившееся крыльцо с проломанными ступеньками большую лягушку. Наверное, решил, что им нужнее. Щелкнул клювом и снова улетел на Остречину, не прося ни награды, ни благодарности. Лягушку освежевали, сварили в крутом кипятке и съели. Было вкусно, но было мало.

Они пробовали ловить лягушек сами, но те лишь посмеялись над их неуклюжестью. Пришлось вернуться к лебеде, и вновь и вновь пережевывать зеленую безвкусную жвачку вслед за тощей коровой...

Когда в их избу постучали по среди ночи, дочь подскочила, почему-то решив, что это снова аист. А вдруг он решил взять на свое попечение двух лишних птенчиков? Говорят, они и рыбу ловят, ну, вдруг? В животе так урчало, что она распахнула дверь, не спрашивая.

Конечно, стучался не аист. В открывшийся проем, лицом вниз рухнул человек. Он держался за бок и тихо стонал. Он пришел на дымок, валивший из окон и дымохода. Пришел не чтобы подарить смерть, но чтобы получить помощь.

Мать и дочь переглянулись, и не решились отказать, взяв грех на душу. Кое-как затащили они пришедшего на лавку, подожгли лучинку, и увидели, что зипун его перепачкан кровью и заляпан грязью, и что кровь продолжает сочиться из располосанного бока и капать на пол, разукрашивая его красными пятнами.

Мать когда-то слыла в деревне знающей, а потому быстро

вспомнила, какие травы да коренья в этом деле помогают. Пошуршала по сундукам, нарвала полотенец, срезала впекшуюся в рану рубаху и быстро перевязала пришедшего.

Три дня и три ночи они не отходили от раненого. Меняли повязки, вытирали пот со лба, поили отварами с ложечки. И не заметили сами, как обрели силы, как перестали думать о смерти, как снова стали молиться в красном углу, не за себя, но за него. Чтобы выжил, чтобы встать на ноги, чтобы со всем справился. Коли выбрался, коли добрался, коли зашел в единственный непустой дом, значит были у Господа на него свои планы?

Мать-знахарка даже взялась за корову, стала отпускать ее на дни и ночи пастись на лугу, шептала над ней заговоры, мыла ей вымя отварами, обходила хлев с иконами, и сумела своими стараниями и радениями уговорить-таки скотину снова давать молоко.

На молоке и травах поправился раненый, окреп, поднялся с лавки и заговорил, хотя никто у него ни о чем не спрашивал. Назвался он Федором, сказал, что напали на него лихие люди, все отобрали, жестоко поколотили и в лесу бросили. Как он из лесу до сюда добрел – не помнит, и как рану получил – тоже. Может, лихие пырнули, а может, и сам на что напоролся, дороги не разбирая. Родства своего он не помнил, и кем прежде был, и что забрали у него, и вспомнить это не стремился. Бог весть, что в прошлом таится? Жив, хдоров почти, и на том спасибо.

Женщины его рассказу поохали-поахали, пожалели и сделали вид, что поверили. Для чего им правда, коли человек хороший?

А Федор оказался хорошим человеком, дельным. Не спешил покидать избу – спешил поправить. Крыльцо починил, колодец почистил, в лес стал ходить на охоту – добычу приосить. Если прежде ничего не водилось в окрестных лесах, акромя белок да ворон, то теперь в оставленные людьми земли потянулись, набравшиеся смелости косули и лоси, а иногда удавалось Федору из самодельного лука подстрелить лесную птицу: большого глухаря иль куропатку иль даже голубя – все мясное.

Пришло время – накосил Федор сена, а к осени нашел поле брошенное с рожью заколосившейся. Женщины сжали, а он оттащал снопы на своем горбу и обмолотил на току.

Потом отловил в окрестностях чьего-то брошенного коня, давно недоенную корову и молодого бычка приبلудившегося. Продал на ярмарке ближайшей молочные скопы – купил курочек и гусей. Настоящим хозяином Федор сделался, а мать с дочкой тому не противились – во всем с ним соглашались и поддакивали, боясь спугнуть нечаянную свою удачу.

Год они так прожили – не семьей, но чем-то общим. А через год решился Федор и повез дочь знахарки под венец в дальнюю, чудом сохранившуюся в огнях и пожарищах церкву. Старый поп их благословил и повелел плодиться и раз-

множаться – заселять разоренную землю заново своими потомками.

Так вернулась в Ляхово живая жизнь, и больше уж никогда оттуда не уходила.

Недоля

За Федором потянулись и другие. Такие же побитые, покалеченные, потерявшие, больше похожие на одичалых собак, чем на людей, они разбредались по окрестностям, выбирая избы, что еще были целы, или ставили новые наскоро или годами ютились в шалашах и сарайчиках, не желая больше странствовать, но и не зная, как остаться. Одни приходили сами, видя пустоши, других пригоняли монастырские, вылавливая из бегов или заманивая землями, жаждущими распашки. Неустроенность и разруха сменялись запахом рубленых бревен и свежесваренного дегтя – верных примет зарождения новых бесчисленных починков, рамешек и доров.

Чернецы тоже возвращались. Тихонько, боязливо, как тараканы, стараясь никого не раздражать и не будить уснувшее было лихо. Монастырек они восстанавливать не стали – поселились за высокой оградой соседней церкви, ошетинившись блестящими ружьями, и не доверяя никому, даже себе. Ни на чем не настаивая, но явно заявляя права на всегдашние свои владения.

Поселяне тому не противились, сил у них на бунт не было,

они, словно скотина в мороз, старались держаться поближе друг к другу, и у чернецов искали больше защиты, чем ответов. На дорогах и в окрестных лесах все еще сновали шайки оборванцев, едва ли помнящих, как их сюда занесло и зачем.

Хозяйство Федора, прозванного соседями Боковым из-за давнишних ран и кривой походки, быстро разрасталось, множилось и крепло. Дочка знахарки не могла нарадоваться на своего работающего, спокойного и рассудительного мужа, с которым не знал горя, и к которому все прочие обращались за мудрым советом. Все у них было хорошо и споро, только, вот, не давал Бог детей. Она уж и в церкву ходила, и свечки ставила, и молилась как умела и могла, и вспоминая заветы покойных мамки и бабки, пила разные травки и шептала разные заговоры – ничего не выходило. То ли заглохло и протухло в ней все женское, пока Федора ждала, то ли поломалось оно, когда лебеду и лягушек ела, то ли не суждено ей было обабиться.

Она даже стала поглядывать с завистью на аистиное гнездо, в котором несмотря ни на что каждую весну появлялись пушистые серые птенцы, громким щелканьем провозглашавшие раз за разом победу жизни над смертью. Ее же гнездо год за годом оставалось пустым, тихим, и глухим к ее мольбам.

Федор молчал. Он вообще больше молчал, чем говорил, от чего другим казался угрюмым. Но она знала, что за немногословностью и соразмерностью, прячется вовсе не злоба, а

тепло, которое легче отдать, обняв, нежели наговорив с три короба.

Он ее не ругал, не обвинял, ни о чем не спрашивал, как будто все шло своим чередом и как требуется. Но от того было еще страшнее и болезненнее, она успешно изводила себя сама, коря за ущербность и за мучения, на которые его обрекает.

Однажды она осмелилась предложить мужу жениться снова, а ей куда-нибудь деться, хоть в монастырь, чернецы ведь подскажут женскую обитель, подходящую для ее пустоты. Но Федор таким одарил ее взглядом, что больше дочка знахарки об том не заикалась.

Уж десяток лет минуло с их венчания, когда вдруг что-то внутри нее зашевелилось. Она давно уж не ждала и не верила, почти смирилась с горькой своей недолей, и потому с большим опозданием сообразила, что наконец-то дождалась. Мужу ничего не сказала, боялась, что ошиблась, что не угадала, прятала все за юбками и передниками, да и несложно утаить-то от мужика, не больно они догадливы.

Только когда рожать стала – позвала его в помощь. Бабок-то не было в округе. Федор не испугался, не обрадовался, не удивился – ну рожают жена, подумаешь, со всяким может случиться.

Она очень старалась, а он от нее не отходил, все делая расторопно и несуетливо, будто всю жизнь служил в повитухах – но не помогло. Их девочка родилась мертвой, обвитой пу-

повиной и совсем синей. Даже окрестить ее не получилось. Так и осталась дочка их безымянной и бесприютной – таких и в рай не пускают, и в ад не берут.

Без плача и причитаний, похоронили они единственного своего ребенка под порогом, как велел обычай. Дабы каждый входящий в избу, осенял и себя, и его крестным знамением.

Только не заходил к ним никто целыми месяцами, а сами они не всегда вспоминали, что надобно перекреститься, войдя в дом – вот и нарушился заведенный порядок, и пошло все у них наперекосы и наперекор уготовленному.

Кикимора

Под порогом зрело нечистое. Зрело, наливалось соками, разбухало и превращалось, как превращаются бабочки в коконах. Наконец, наступило его время, и нечистое вылупилось, потянулось, отряхнулось, уперлось в порог тонкими пальчиками и выломало его.

Выбралось на волю, потянулось, отряхнулось, осмотрелось, приняхалось и прислушалось. Где оказалось? Где очутилось? Где житье-бытье налаживать предстоит.

Кругом была изба, добро сколоченная, где-то подлатанная, черным дымом опаленная и вкусно пахнувшая им, а еще поставленным в печь хлебом и травами, развешенными на веревках под потолком. Ладное место, есть, где разгуляться, есть, где набедокурить.

Нечистое потянуло пряный воздух носом и чихнуло, под-

няв с земляного пола клубы черной пыли. Пыль его порадовала, как всякое неурочное и грязное. Оно потеряло лапки и еще раз оглянулось по сторонам, выискивая с чего бы начать. Попалась мышь, куда-то спешащая по своим делам. Нечистое пнуло ее ногой, чтоб не мешалась, та недовольно пискнула, и смылась восвояси, не желая иметь с ним ничего общего. Звук нечистому понравился, но показался слишком тихим, хотелось громче, как можно громче. Заметив пустую кадку, нечистое в нее запрыгнуло и постучало коготочком по железным скобам. Звучало лучше, но все равно недостаточно хорошо. Опрокинув кадку, нечистое подбежало к печи и подергало дверцы и заслонки – они дребезжали знатно, но не разбудили хозяев. Их сон был глубок и безмятежен, как у всякого, кто много и тяжело работает и не мучается совестью.

«Хорошие люди», – подумало нечистое и толкнуло ухват на горшки, горшки упали и разбились, из опрокинутой крынки растеклось молоко. Нечистое окунуло в лужу палец и облизало его. Поморщилось – молоко давно прокисло.

Шаря взглядом в поисках чего-то занятного, нечистое заметило на лавке прялку и кудель. К прялке сильно тянуло и влекло, и оно поскакало к лавке вприпрыжку, встав на четвереньки для скорости и удобства. Нечистое высоко подскочило и вцепилось коготочками в кудель. Прялка под его весом накренилась и грохнулась на пол. Но хозяева продолжили спать. Даже не пошевелились.

«Уж не умерли ли они?!» – испугалось нечистое и по рукаву зипуна, которым они накрывались, вскарабкалось хозяйке на грудь. Уселось, навалилось всем телом и стало ей в лицо вглядываться – дыхание ловить. Хозяйка напряглась, попыталась повернуться, а когда не удалось, открыла один глаз. Нечистое улыбнулось и клацнуло зубами.

Хозяйка дернулась, подскочила на кровати и закричала тонким, будто чужим голосом:

– Кикимора!!!

Так нечистое и узнало, что его звать-величать Кикиморой. От резкого хозяйкиного движения оно отлетело к печке, больно об нее ударилось и протяжно завывало.

Здесь и хозяин проснулся, глаза потер, сощурился – все пытался разглядеть про кого жена верещит и в кого пальцем тычет, но так ничего и не увидел и даже воя не услышал. Махнул рукой на бабские причуды, отвернулся к стенке и снова засопел, будто ничего и не было. А вот хозяйка до утра заснуть не могла. Зажгла лучину, углядела в ее свете устроенный переполох, схватила за голову и принялась за уборку.

– Где теперь горшков столько найти, а кикимора? На кой ты это все переколотила и разбросала? И за что на нас такая напасть? Будто других не хватает!

Кикимора продолжала выть и потирать ушибленную голову. Нимало не беспокоясь о том, что натворила. Значит, так надо было, коли случилось. Неча жаловаться!

– Не за что, а почему. Скучно мне, а вы спите, как убитые! – проворчала она себе под нос, наблюдая одним глазом за тем, как хозяйка выметает голиком черепки. Проворчала тихо, чтобы не услышали, добилась ведь своего, можно теперь и отдохнуть.

Хозяйка отворила дверь, чтобы вымести сор из избы, и покачала головой, увидев выломанный порог. «Кажется, догадалась, – подумала кикимора. – А коли догадалась то и что с того? Все равно на меня никакой управы нет!»

В дверном проеме забрезжили предрассветные сумерки, во дворе залиvisto и раскатисто прокричал петух. Ночь привычно сменялась днем, и время нечистых заканчивалось.

Кикимора, увидев свет, зевнула и покорно засемила в закуток. Там она свернулась калачиком рядом с жерновами, и почти сразу уснула, проспав день до ночи, набравшись сил для новых шалостей.